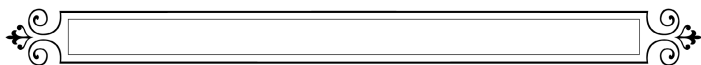




**Вячеслав Кондратьев**  
**ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ**





Когда Володька-лейтенант вскарабкался на заднюю площадку трамвая, все шарахнулись от него в сторону, и он, поняв причину этого, сразу же озлился и настроился против публики.

Правда, какая-то женщина поднялась, уступая ему место.

— Садитесь, товарищ военный... — Но он глянул на нее такими мертвыми глазами, что она, вздрогнув, пробормотала: — Господи, а такой молоденький.

Да, видать, нечасто видели в Москве вот таких — прямо с передовой, обработанных и измочаленных войной, в простреленных, окровавленных ватниках, в прожженных, заляпанных двухмесячной грязью сапогах... И на Володьку смотрели. Смотрели с сочувствием. У некоторых пожилых женщин набухали слезы, но это раздражало его — ну чего вылупились? Не с тещиных блинов еду. Небось думаете, что война — это то, что вам в кино показывали... Особенно раздражали его мужчины — побритые и при галстучках.

Когда он сел на уступленное ему место, соседи заметно отодвинулись от него, и это добавило раздражения — видите ли, грязный он больно... Так и сидел, покусывая губы и не глядя на людей, пока не почувствовал себя так неудобно — разве таким он мечтал

вернуться в Москву, — что, рванув борт ватника, приоткрыл висевшую на гимнастерке новехонькую медаль «За отвагу» — нате, глядите! А то грязь и кровь приметили, а на награду ноль внимания! И, быстро встав, прошел на площадку, толкнув не совсем случайно хорошо одетого мужчину с портфелем и при галстукке.

Уткнувшись в окно, он глядел, как проплывают мимо знакомые московские улицы, но все еще не мог представить реально, что это московские улицы, что он живой и едет д о м о й ...

И только тогда, когда трамвай остановился на его остановке, почти у самого его дома, что-то дрогнуло в душе. Значит, это правда! Он дома! И все позади...

Он вылез из трамвая, но не побежал, шалея от счастья, а, наоборот, даже приостановился, приглядываясь к родной улочке, и, лишь увидав свой дом — целый и невредимый, лишь больше прежнего обшарпанный, с грязными, видать, давно не мытыми окнами, с выпавшими кое-где глазурированными кирпичиками у подъезда, — он вдохнул, выдохнул и ощутил, что с этим выдохом уходит из души то неимоверное, предельное напряжение, в котором жил он те страшные, ржевские месяцы.

Не то всхлипнув, не то застонав, он побежал. И на третьем этаже, около двери своей квартиры, стоял не тот отчаянный, шальной лейтенант Володька, пехотный ротный, поднимавший людей не в одну атаку, выпученных, бешеных глаз которого боялись не только обычные бойцы, а даже присланные к нему в роту урки с десятилетними сроками, а стоял намученный, издерганный донельзя мальчишка, для которого все пережитое подо Ржевом было непосильно трудно, как ни перевозмогал он себя там, как ни храбрился...

— Господи, что с тобой сделали! — услышал он откуда-то издалека голос матери, а на своем жестком, неделю не бритом лице ощутил ее слезы. — Ты живой! Живой! — бормотала она, не обнимая, а ощупывая его всего, словно стараясь убедиться, что это он, ее сын.

— Живой, мама... Только очень грязный, — наконец-то нашел силы ответить Володька и тихонько отстранился от матери, когда почувствовал ее пальцы на том месте своего ватника, где были зажухлые пятна крови.

Он отступил от матери и начал снимать его.

— Я помогу тебе, — зашепила она.

— Нет, нет... Я сам. — И стал стаскивать ватник, освободив руку от косынки. — Куда бы его деть?

— Я отнесу в чулан. — Мать протянула руки.

— Я сам, мама, — отдернул он ватник от нее и вышел из комнаты.

Когда он вернулся, она спросила:

— У тебя тяжелое ранение?

— Нет. — И этот ответ не обрадовал ее. Она как-то сникла и прошептала:

— Значит, ты ненадолго?

— Да, мама, наверно, ненадолго... — Он присел на диван и стал оглядывать комнату, и только тут мать обратила внимание на его медаль.

— У тебя награда! За что?

— За войну, мама, — ответил он довольно безразлично.

— Я понимаю... Но чем-то ты ее заслужил.

— Там, где я был, все заслужили... Только давать уже было некому.

— Почему некому? — спросила она с беспокойством, но, когда Володька в ответ пожал только плечами и нахмурился, поняла.

После недолгого молчания он глухо произнес:

— Мама, у нас нет водки?

— Нет, Володя. Но я сейчас сбегая к соседям. У кого-нибудь да найдется, и мне не откажут...

Потом, когда мать согрела в ванной колонку, он залез в горячую воду, все еще ошеломленный тем необыкновенным происшедшим с ним рывком из одного пространства в другое. Всего неделю тому назад была развороченная снарядами передовая, где Москва, дом представлялись ему чем-то таким далеким, недоступным, не существующим вообще. И вот — дом, его комната, мать, зовущая его к столу, а на столе — вареная в мундире картошка, тоненькие ломтики черного хлеба, бутылка водки и... банка шпрот.

И даже это скучное, что было на столе, поразило его.

— С едой, значит, у вас не так плохо, — вырвалось у него.

— Нет, Володя, очень плохо... Кончилась крупа, и вот пришлось прикупить на рынке картошки, а она стоит девяносто рублей килограмм. Мне пришлось продать серебряную ложку. Ну, а шпроты еще с довоенных времен храню.

— Мама, — полез Володька в карман гимнастерки, — вот деньги. Много, три мои лейтенантские зарплаты.

— Сколько же это?

— Много. Около двух тысяч.

— Спасибо, Володя. Я положу их здесь, на столик... Но, увы, это совсем не так много, как ты думаешь.

— Две тысячи немного? — удивился он.

— Да. Садись, Володя.

Он сел, налил себе полный стакан, и мать широко раскрыла глаза, когда он сразу, одним махом, не поморщившись, выпил его, а потом стал медленно,

очень медленно, как ели они на передовой, закусывать.

— У тебя очень странные глаза, Володя, — сказала мать, тревожно вглядываясь в его лицо, видно, ища те изменения, которые произошли с сыном за три года.

— Я ж выпил, — пожал он плечами.

— Ты с такими пришел... Они очень усталые и какие-то пустые. Такие пустые, что мне страшно в них глядеть... Почему ты ничего не рассказываешь?

— Что рассказывать, мама? Просто война... — И он продолжал долго прожевывать каждый кусок, и поэтому мать догадалась:

— Вы голодали?

— Да нет... Нормально. Только вот странно есть вилкой, — чуть улыбнулся он, впервые за это время.

Они долго молчали, и Володька непрерывно ощущал на себе тревожный, вопрошающий взгляд матери, но что он мог ей сейчас сказать? Он даже не решил еще, о чем можно говорить матери, а о чем нельзя, и потому налил себе еще полстакана, отпил и молча закусывал.

— Мама, что с ребятами? И школьными и дворовыми? — наконец спросил он.

— Кто где, Володя... Знаю, что убит Галин из твоего класса и погибла Люба из восьмой квартиры.

— Люба? Она-то как попала на фронт?

— Пошла добровольно... — Мать взглянула на него и продолжила: — А ты?..

Володька не отвечал, уткнувшись в тарелку.

— Меня это мучает, Володя. Одно дело — знать, что это судьба, другое, когда думаешь — этого могло и не быть. Ты молчишь?

— Это судьба, мама, — не сразу ответил Володька.

— И ты не писал рапортов с просьбами?..



— В начале войны мы все писали. Но это не сыграло роли... Не сыграло... — Володька видел, что мать не поверила ему, но сказать правду он не мог.

Спустя немного мать робко спросила:

— Ты, наверное, Юлю хочешь увидеть?

— Нет... Пока нет, — не сразу ответил он.

— Как началась война, она почти каждый день прибегала ко мне. Мы вместе ждали твоих писем, вместе читали... По-моему, Володя, в том, что она так долго не писала тебе, нет ничего серьезного. Просто глупое, детское увлечение. Она совсем еще девчонка. Вы должны увидеться, и ты... ты должен простить ее, — сказала мать, видимо придавая большое значение этому, надеясь, что Юля как-то поможет сыну прийти в себя.

— Что простить? — равнодушно спросил Володька.

— Ну... ее долгое молчание, — немного растерялась мать.

— Это такая ерунда, мама, — махнул он рукой.

— Но ты как будто очень переживал ее молчание?

— Когда это было? Теперь все это...

Мать опять пристально поглядела на него — такого сына она не знала и не понимала. Он стал другим.

— Где Сергей?

— Сережа в Москве. У него белый билет после ранения на финской... Ему я очень обязана, Володя. Он устроил меня надомницей. Видишь, я шью красноармейское белье и получаю рабочую карточку. А до этого целый месяц была без работы. Наше издательство эвакуировалось, ну, а я не поехала. Все время думалось... вдруг ты попадешь каким-то случаем в Москву...

Володька поднялся, подошел к дивану.

— Я прилягу, мама...

— Да, да, конечно, тебе надо отдохнуть, — заторопилась она, укладывая подушки.

— Пока я никого не хочу видеть, мама. И Юльку тоже. — Он зевнул и растянулся на диване.

Но с Юлькой он увиделся в тот же день, точнее, вечер. Она пришла, когда он только что проснулся, и, услышав два звонка, уже понял, что это Юлька. Он закурил и, не вставая, напряженно уставился на дверь. Он слышал, как топают ее каблучки по коридору, как здоровается она с матерью, как приближаются ее шаги к комнате. И вот...

Юлька впорхнула и, увидев Володьку, отпрянула назад, потом охнула, всплеснула руками и замерла, а в ее глазах вместе с удивлением, радостью мелькнуло какое-то отчаяние.

Он нарочито не спеша поднялся с дивана и начал натягивать вымытые уже матерью свои кирзашки, которые и сейчас выглядели неприглядно, потом так же нарочито медленно сделал шаг к Юльке и остановился.

— Володька... ты? Господи, так и умереть можно. Твоя мама ничего не сказала... Когда ты приехал?

— Утром.

— Ты ранен?.. И у тебя медаль! Я знала, что ты будешь хорошо воевать... Господи, я не о том... Ты надолго?

— Ну проходи, раз появилась. Нечего в дверях стоять.

Юлька изменилась. Нет, она не выросла и не попышнела телом. Только не стало смешных, нелепых косичек, а была короткая стрижка «под мальчика», были чуть подкрашены губы, и были серьезные, очень серьезные глаза.

— Я пройду... — сказала она, но продолжала стоять в дверях. — Господи, что я натворила! Ты надолго?

— Не знаю... Проходи.

Юлька как-то неуверенно подошла к нему, остановилась, словно ожидая чего-то, но Володька только протянул ей руку и довольно грубовато сказал:

— Ну садись. Рассказывай, чем занималась, пока я ищачил в училище и ждал твоих писем?

— Володя, это потом... Это не главное. Я принесу тебе такую черную тетрадочку, там все описано, и ты... ты поймешь. Это была глупость, Володя, страшная глупость...

— Что же не глупость? — хмуро спросил он.

— Сейчас не могу... Ты меня убьешь.

— Не очень-то я походил на Отелло, — усмехнулся Володька.

— К сожалению, да... — Юлька вытащила из сумочки папиросы, спички и закурила.

— Это что за новость? А ну, брось! — почти крикнул он.

— Я курю, Володя. Давно, с начала войны.

— Брось! — Юлька сделала короткую затяжку и положила папиросу в пепельницу. — Чему еще ты научилась с начала войны?

— Больше ничему...

— Вон водка... Может, тоже научилась?

— Нет, но налей немного. Мне надо прийти в себя...

— Бить тебя было некому, — сказал Володька, покачивая головой, но взял из буфета рюмку и налил.

Юлька выпила и начала так серьезно, что Володька насторожился.

— Я должна сказать тебе... Не знаю, с чего начать. Но ты должен понять меня и... простить.

— Говори! — нетерпеливо, приказным тоном сказал он.

— Завтра, к двенадцати, мне нужно... в военкомат... С вещами...

— Какой, к черту, военкомат! — загремел он. — Ты сдурела, что ли!

— Я ж не знала, что ты приедешь... Я хотела быть с тобой... на фронте, — еле слышно произнесла она и присела на диван.

— Дура! Ты знаешь, что такое война! И для девчонок! Это ты понимаешь?

— Зато я испытаю все, что и ты...

Вошла Володькина мать.

— Мама, представляешь, что она выкинула? Завтра ей в армию!

— Господи... Как же это, Юля? Володя приехал, а вы... вы уезжаете... И вообще...

— Откуда я знала, что он приедет? Я думала, вдруг мы на фронте встретимся, — чуть не плача, пробормотала Юлька.

— Нашла место для свиданий! Ну, не дуреха... — Володька бросил в сердцах папиросу и стал вышагивать по комнате, громыхая сапогами.

— Успокойся, Володя, — сказала мать.

— Я спокоен. Пусть отправляется, если по рукам захотелось...

— Володя... — укоризненно прервала мать.

— Я не Майка! И ни по каким рукам ходить не собираюсь! Я воевать иду! — вскрикнула Юлька и заревела уже по-настоящему.

— Воевать! Ты знаешь, что это такое! Вздуть бы тебя сейчас как следует! — взорвался опять Володька.

— Володя... — остановила его мать.

— Какой ты трудный, Володя, — сквозь слезы бормотала Юлька. — Моя мама всегда говорила, что ты трудный мальчишка.

— Мальчишка! Я мужик теперь! Понимаешь, мужик! Я видел столько за эти месяцы, чего за сто лет не увидишь. Ты посмотри на меня, посмотри. — Он подошел к ней и стал.

Юлька подняла глаза и, наверно, только сейчас увидела, как изменился Володька, как он худ, какие черные круги у него под глазами, в которых стояла какая-то непроходимая усталость и пустота. И она прошептала:

— Скажи, что там было? У тебя такие глаза... Господи. Почему ты молчишь? — Она глядела на него в упор и вдруг, закрыв лицо руками, прошептала: — Мне почему-то стало страшно. И я не хочу завтра в военкомат.

У Володьки кривился рот, ему было нестерпимо жалко Юльку, но он сказал:

— Я даже не пойду провожать тебя завтра.

— Не мучай меня... У нас всего один вечер. И ты пойдешь...

И Володька пошел. На другой день, в одиннадцать часов, он уже был у Юльки дома, о чем-то говорил с заплаканной ее матерью, чем-то успокаивал растерянного, пришибленного Юлькиного отца, который, конечно не зная, что она идет в армию добровольно, все время безнадежно приговарил: «Довоевались... Девчонок в армию забирают. Довоевались...» Он отпросился с работы, чтобы проводить дочь, но Юлька категорически заявила: провожать ее будет только один Володька. Мать суетливо собирала вещи, которые Юля молча выкладывала обратно, говоря, что они ей не нужны, а мать через некоторое время

опять собирала их в маленький Юлькин чемоданчик, памятный Володьке еще со школы.

Отец дрожащими руками достал из буфета початую четвертинку, стал разливать, и горлышко бутылки било по краям рюмок, и они дребезжали дробным печальным звоном, от которого всем было не по себе.

Володька, глядя на эту предотъездную суету, на страдальческие лица Юлькиных родителей, на муку в их глазах, почему-то вспомнил очередь к штабу полка, в которой они стояли с докладными в руках, возбужденные, гордые своими решениями, полные ощущения своей значительности, совсем не думая о том, что где-то далеко их матери молят бога, молят судьбу, чтоб остались их сыновья на Дальнем Востоке и война прошла бы для них мимо...

Тем временем Юлькин отец, разлив водку, протягивал неверной от волнения рукой рюмки и, видимо будучи не в силах ничего говорить, приглашал жестом присесть всех перед дорогой. Они присели на разбросанные по комнате стулья, молча выпили по маленькой рюмке теплой противной водки и поднялись. Володька, взяв Юлькин чемоданчик, вышел в коридор и уже оттуда услышал, как заголосила ее мать, как выдавливал из себя какие-то прощальные слова ее отец...

Призывной пункт в Останкине они нашли сразу: около него толпились девчухи — и красивые, и не очень, высокие и маленькие, худенькие и полненькие (таких меньше), но все до невозможности молоденькие, совсем-совсем девчонки. Одеты они были во все старенькое, так как знали, что одежду эту отберут и дадут военное. В руках у всех маленькие чемоданчики или вещмешки. Все были коротко острижены, как и Юлька, и только одна высокая вальсяжная

блондинка не смогла расстаться со своей роскошной, в руку толщиной косой. И провожали их только матери или младшие сестры и братья.

Стоял нервный шепотливый гомон. Матери что-то говорили им напоследок, давали какие-то наказания или напутствия, а девчонки почти беззвучно шептали в ответ: «Да, мама... Хорошо, мама... Конечно, мама...»

На Володьку посматривали — он был единственный мужчина из провожающих, да еще раненый, с фронта, на который скоро попадут и они, эти глупые девчушки. И слышалось: «Видать, только приехал — и сразу на проводы попал... Вот не повезло парню... А может, брат? Да нет, не похожи вроде...»

Из одноэтажного деревянного домика, где располагался призывной пункт, вышел немолодой старший лейтенант. Володька бросил руку к шапке, тот ответил на приветствие, обвел всех усталым, сочувственным взглядом и вытащил список.

— Ну вот, девчата... Надо построиться, — начал он. — Буду выкликать фамилии, отвечайте — «я». Поняли?

Девушки стали неумело строиться. Было их человек пятнадцать.

— Абрамова Таня...

— Я!

— Большакова Зина...

— Я!

Так выкликнул он все пятнадцать фамилий. Все были на месте. Все ответили — «я», кто смело и громко, кто тихо и неуверенно, а кто и с легкой дрожью в голосе.

— А теперь, девушки, попрощайтесь со своими родными и проходите.

Юля сразу же ткнулась холодными губами в Володькино лицо и, круто повернувшись, пошла в дом. Только перед дверью приостановилась, махнула ему рукой и улыбнулась. Улыбка была вымученной и жалкой.

Тем временем за Володькиной спиной слышались материнские причитания:

— Как же ты будешь там, девонька? Господи...

— Пиши. Как можно чаще пиши. Как время выдаться, так и пиши...

— Мужикам-то не особенно верь...

— Бог ты мой, как же отцу твоему пропишу про это?

— Береги себя, девочка... Прошу тебя, береги...

Раздались всхлипы, рыдания... У Володьки придавило грудь, и он начал кашлять — ну, какие дурешки, какие дурешки, думал он, и было ему и жалко их всех, в том числе и Юльку, до невозможности, и зло брало за глупость их, наивность.

— Куда их, старшой? — подошел он к старшему лейтенанту. — Понимаешь, только вчера с фронта, и вот... выкинула номер моя.

— Не беспокойся, — улыбнулся тот. — В Москве пока будут. Запасной полк связи на Матросской Тишине. Знаешь, недалеко от Сокольников.

— Знаю, конечно, — обрадовался Володька.

— Сам-то надолго?

— А хрен его знает. Не был еще на комиссии. Думаю, месяц, полтора...

— Ну, а их пока обучат, пока присягу примут, пятое-десятое, и больше пройдет. Так что не теряйся, когда в увольнение прибегать будет, — подмигнул старший лейтенант.

— Будь спок, не растеряюсь, — в тон ответил Володька, а у самого ныло в душе.



Постоял он еще немного вместе с плачущими матерями, искурил папиросу, а потом медленно пошел вдоль трамвайной линии. Перед глазами все еще стояла вымученная, жалкая Юлина улыбка, не очень-то его успокоило то, что Юлька будет пока в Москве. Все равно же впереди фронт.

Выйдя на Ярославское шоссе, он стал подниматься в гору, и тут бросилась ему в глаза огромная очередь около продмага, но тянущаяся не из дверей, а со двора, и было в ней, в этой очереди, порядочно мужичков, что удивило Володьку.

— За чем очередь? — поинтересовался он.

— Водку без талонов дают.

— А сколько она стоит без талонов?

— Вы что, с неба свалились? — обернулась женщина. — Ах, простите, вы, наверное, недавно в Москве, тридцать рублей бутылка.

— Дешевка! — поразился Володька. — Я в деревнях за самогон пятьсот платил.

— Так на рынке у нас столько же берут. Мы стоим-то, думаете, чтоб выпить? Нет. Ну, мужики, те, конечно, в себя вольют, а мы, женщины, только посмотрим — и на рынок...

— Пожалуй, я встану, — решил он, тем более что до встречи с Сергеем оставалось еще два часа.

— Так вас, раненых да инвалидов, через пять человек ставят. Идите вперед, как увидите калеку какого, отсчитывайте от него пять человек и становитесь... Привыкли, наверное, на фронте к наркомовским граммам? — добавила женщина.

— Не очень-то, — ответил он и пошел вперед.

Очередь была длинная, но инвалидов стояло только трое—двое на костылях, один с рукой на черной косынке. За ним-то и стал Володька отсчитывать